ГРАНИ

23

1954

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Рассказ о молодых бойцах, не участвовавших в сражениях, второй рассказ о молодом немце, находившимся в плену, третий рассказ о жителях деревни, помогавших провизией солдатам.

- А. Франк
  - БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
  - ДВА ФЕРДИНАНДА
  - ПОЛОН
- notes
  - 1

А. Франк
Героические рассказы

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

В мирное время городок Н. славился своими целебными ваннами, а ныне — как центр сопротивления немецким оккупантам. Не будучи французом, я любил эту страну, где молодые и не совсем молодые люди готовы были пожертвовать жизнью, чтобы выбить немцев из «прекрасной Франции», и охотно изображали из себя героев, что было не трудно, так как недостатка в терпком красном вине и французской водке, мар, не чувствовалось. Я искренне считал гитлеровское нашествие несчастием и поэтому всецело разделял с непокорными французами невзгоды их и заботы. Весной 1944-го года я вступил в ряды сопротивления.

Высоко в горах собралось нас сорок семь бойцов. У нас было тринадцать ружей. Пишу *ружей*, а не винтовок, так как из них четыре были охотничьи двухстволки, одно монтекристо, пять карабинов и три винтовки. Не менее великолепно обстояло дело с боеприпасами. У меня лично было четырнадцать патронов, из которых три я расстрелял при учебной стрельбе.

Моя винтовка была системы «Спитфайер 303», которую отняли у одного глупого фермера, жестоко избив его при этом: чудак не понимал, что борьба требует жертв. Винтовка была старая, заржавленная, с прицельным измерением на ярды, а не на метры, что смущало меня и моих соратников. Когда дошла моя очередь стрелять в цель, я усомнился в пригодности этого оружия и спросил моею начальника, бывшего жандарма, как опытною стрелка, не хотел бы он выстрелить первым. Жандарм внимательно осмотрел винтовку и спокойно сказал, что он не сумасшедший, чтобы стрелять из этой «штуки», так как при первом же выстреле стрелку в лучшем случае оторвет руку. Получив такое ободряющее заверение, я решил, что если напророченное несчастье случится, можно будет в крайности стрелять из револьвера оставшейся левой рукой, и выстрелил. Руку мне не оторвало, но я прослыл «головорезом».

С большим трудностями мне удалось купить на черном рынке итальянские военные сапоги. Я был страшно горд. Ровно через шесть дней это изделие гордых потомков железных легионов Юлия Цезаря стало трещать по всем швам (в буквальном смысле этого понятия). Еще через два дня подошва правого сапога отстала, и я с ужасом заметил, что сапог, глядя на меня, ухмыляется, как бы говоря: «Тоже мне — вояка!». Посредством сложной системы бичевок мне на некоторое время удалось победить этот сарказм…

Весь каш «полк» жил в домике, в мирное время служившем убежищем для лыжников. Было так тесно, что многие из нас по очереди спали сидя, а один чудак, бывший художник и поэт, уверял, что лучше всею отдыхает, когда спит стоя. Он спал стоя дня три, а на четвертый — лег и прохрапел двое суток.

Места, оде мы располагались, было в семи километрах от селения с торжественным: названием Bout du Monde[1].

Днем и ночью мы расставляли часовых и охраняли свою «штаб-квартиру» с двух сторон, откуда только были возможны подходы к нашей вершине.

В одну довольно теплую ночь со стороны Bout du Monde прибежал с дрожащими губами часовой и срывающимся фальцетом заявил, что кто-то приближается с огнями. Огонь-де «двигается!». Хотя мы всегда ожидали немцев, готовое «победить или умереть», но сообщение это произвело удручающее впечатление. Начальник лагеря — жандарм со звучной фамилией Шульц, уверявший, что у него болят зубы и поэтому пивший днем и ночью мар, распорядился приготовиться к спешному отступлению, так как, по рассказу часового, шла на нас большая немецкая сила. Зная из печального опыта товарищей, что немцы в плен не брали, бойцы с лихорадочной быстротой обвешались рюкзаками, ранцами, котелками и, дрожа — видимо от холода, традиционно задрапировались, как наполеоновская великая армия, в одеяла. Начальник хрипло вызвал добровольцев на разведку, не упомянув на этот раз ни об «идеалах Франции», ни о «беспощадной борьбе с бошами», но основательно хлебнув из бутылки, которую затем бережно сунул в задний карман.

Поднялись два брата-близнеца. Жан косил глазами вправо, а Пьер — влево. Когда один из братьев говорил с кем-нибудь, очень часто отвечал не тот, к кому он обращался, а сосед, полагая, что смотрят на него. Встал также Бубуль, мальчик лет пятнадцати, сын адвоката. Этот лелеял две мечты: одну, что он один перебьет «сто немцев», а вторую — что у него будут большие усы. В то время у него уже пробивался легкий пушок на верхней губе, который он нежно гладил, тщетно пытаясь при этом кашлять басом. Его любили, а над усами подсмеивались, уверяя, что голубиный помет, если его класть на ночь под губу, очень способствует растительности, и часто ссылаясь при этом на Буденного. Матрос Рожэ, сорока двух лет, самый старший из нас, не говоря ни слова, снял со стены свой карабин. Рыжий бретонец Эмиль, повар (плохой) и хвастунишка, удивил всех желанием участвовать в «деле». Так как я слыл головорезом, делать было нечего, — шестым пошел я.

Ночь была; темная, безлунная, и только звезды равнодушно

мерцали в невероятной высоте, как всегда в горах.

Еще метров двести — и, обойдя нечто вроде болота, мы действительно увидели мерцающие огни. Шульц остановился, раскатисто закричал:

— Qui est la? — Ответа не последовало.

— Отвечайте, или мы будем стрелять!..

Опять молчание.

— Пли — скомандовал он. Раздался залп… Огни продолжали мерцать.

— В штыки! — заревел Шульц.

Штыков у нас не было, но мы побежали, подняв ружья наперевес, в атаку. Бежать надо было по неровной почве, и мы проваливались по колено в жидкую слякоть и дышали, как боксеры, испытывая одновременно неприязнь и нежную любовь друг к другу… Забрызганные грязью до плеч, мы кое-как добежали до неприятеля. И тогда свирепые звуки, которые мы издавали, замерли. Мы увидели, что «вражеские огни» были только светящимися на пнях гнилушками.

Сознаюсь, мне было очень страшно, пока я бежал, ожидая разящей пули эсэсовца, но теперь я негромко выругался по-русски и не потому, что вдруг ощутил всем телом счастье безопасности, а потому, что мой итальянский сапог окончательно и бесстыдно разинул пасть почти до каблука и, освободившись от всех веревочных уз, злорадно издевался над моим «боевым крещением». На мгновение мне показалось даже, что я слышу его смех. И, чтобы заглушить его, я сам захохотал как можно громче, и ко мне присоединилась вся разведка. А наш начальник вытащил свою заветную бутылку и, отхлебнув сам, передал её с неожиданно мелким, катящимся смешком. Мы пили и смеялись. Сапог смутился, замолчал. И я его скрутил снова: на этот раз — ремнем от штанов.

ДВА ФЕРДИНАНДА

Горы, горы, горы…

Хотя и весна, но нам холодно, нам — французским маки.

Сорок шесть французов и я. В хижине очень тесно. Кто лежит, кто сидит, некоторые стоят. В два часа ночи моя очередь идти на дежурство.

В запасе четыре часа. Мне повезло — я лежу, но мне не спится.

Не снится также моему соседу, Морису, плотному и сильному нормандцу, лет сорока. Этот невысокий брюнет переживает душевную драму. В сороковом году он попал в плен и, пробывши два года в лагере, был переведен на сельскохозяйственные работы в Восточную Пруссию. Там в Германии Морис полюбил девушку. Отец её был поляк, мать немка. Девушка работала на том же хуторе, что и он. Все они относились хорошо к нему, и в сорок третьем году помогли ему бежать. Он часто рассказывал мне, я бы сказал — с сентиментальной нежностью, о своей жизни в Германии. Большую роль, конечно, играла в его воспоминаниях эта русая полунемка. В ряды сопротивления он попал раньше меня, в конце сорок третьего года.

Как я уже сказал, нам не спалось и мы шепотом переговаривались: футбол, девушки; различные способы удобрения, авиация, часовые механизмы, лыжный спорт, музыкальные коробки, телеграф и, между прочим, наша жизнь в данный момент… Я относился к Морису с любовью, как к мягкому, всегда дружелюбному человеку, и с уважением — зная, что у него уже большой боевой опыт. Мне непременно хотелось услышать от него о самом знаменательном моменте в его боевой жизни. Я ждал, что он мне расскажет, при каких обстоятельствах он попал в плен, или свои подпольные похождения в рядах сопротивления.

Не тут-то было!

— Самое тяжелое воспоминание у меня связано с Фердинандом. Фердинанд — немец, которого мы взяли в плен зимой сорок третьего года. Ему тогда было 18 лет. Жил он у нас около трех месяцев, и все привыкли к нему и даже полюбили его. Живя в Германии — продолжал Морис — я научился понимать и кое-как говорить по-немецки, но мне трудно было освоить его баварский диалект. Всё же, путая слова, запинаясь, я, в конце концов, узнал кое-что о его жизни. Родился он в северной Баварии, высоко в горах. Родители — зажиточные крестьяне. Было у него два брата, оба на Восточном фронте, и сестра. Сестра

была значительно старше его. Он часто показывал мне её фотографию. Она вышла за инженера и у нее трое детей. Двое сыновей и дочь. Из последних писем Фердинанд знал, что она работает сестрой милосердия в Ганновере. Из всей семьи он, невидимому, больше всего любил её. Фердинанд жил с нами, деля с нами ваши радости и невзгоды. Днем он колол дрова, носил воду, мыл посуду, убирал домик, где мы жили, одним словом — делал всё, что делали мы сами. Единственно, в чём он не принимал участия, — это в набегах на немцев. Вначале его сторожили, а позднее он пользовался совершенной свободой. Да, Фердинанда определенно все любили. На второй день Рождества ему исполнилось девятнадцать лет..

В этом месте рассказа Мориса я увидел вдруг чью-то ногу на своей груди. Я осторожно снял любительницу путешествий и водрузил на место. Владелец её заворочался и что-то промычал во сне. Это был молодой инженер-горняк из Савойи.

— Ну, что же дальше было с Фердинандом? — обратился я к Морису, но, прежде, чем Морис раскрыл рот, горняк внезапно спросил нормальным голосом:

— Какой это Фердинанд?

— Фердинанд-немец, — ответил ему Морис.

— Ах, немец, а я думал другой Фердинанд. Знаешь? Тот… ну, ты же знаешь, о ком я говорю!

— Знаю, знаю, — неохотно отозвался Морис.

— Другой Фердинанд? — заинтересовался я.

— Другой Фердинанд был чех, и был один из нас. Ему было года пятьдесят два-три; он был рыжеват, с лицом, изъеденным оспой, и большим мясистым носом. Ох, этот Фердинанд! Он как раз сыграл роль в жизни… или скорее, в смерти Фердинанда-немца. Или — вернее — мог бы сыграть… Видишь ли… — другим каким-то голосом продолжал Морис — он любил две вещи, любил страстно, как любят женщину…

— Какие же это две вещи?

— Природу и расстрел… Да, он любил смотреть на восход солнца, любил звезды, деревья, словом — всё, что относилось к природе. Но, кроме того, он жадно любил расстреливать. Ни один расстрел не обходился без него. Когда осужденного привязывали к столбу или к дереву, когда раздавалась команда — Становись! — Фердинанд обыкновенно уже стрелял. Метил он всегда в одно место: в нижнюю часть живота. Пока несчастный корчился в муках, остальные шесть или семь бойцов неспеша заряжали винтовки. Заряжал с ними заодно и Фердинанд. Потом казнь завершалась…

Да, так вот рождение Фердинанда-немца мы справили весело.

Из соседней деревни пришли знакомые, были также девушки. Одна из девушек испекла ему сладкий пирог. Мы со своей стороны подарили ему, что могли. Кто пачку папирос, кто перочинный нож, кто носки и т. д. Под гармонику даже танцевали друг с другом. Фердинанд громко хохотал, был весел, но не хмелел и к общему удовольствию протанцовал баварский танец.

В конце января стали мы замечать резкую перемену в Фердинанде. Ходил он опустив голову, мало разговаривал, даже иногда плакал. На наши вопросы отмалчивался. А в начале февраля ушел за дровами и не вернулся…

К вечеру подняли тревогу. Через три дня он был пойман и приговорен к расстрелу. Хотя он уверял, что никого из своих не видел, было решено, что место нахождения лагеря в опасности и нужно спешно перебираться. Но сначала должна была состояться казнь. Все наши ребята, кроме Фердинанда-чеха, отказались от этой грязной работы. Вызвали бойцов из соседней группы. Фердинанд-немец попросил нас исполнить его последнюю просьбу: написал письмо своим родителям и сестре, в котором хвалил нас, описал свой побег и приговор маки. Писал он также, что не боится умереть и заклинал не осуждать нас. Его привязали к дереву, он просил не завязывать ему глаза…

Те из нас, которые имели мужество присутствовать при его последних минутах, — плакали. Плакал и я, и мне не стыдно в этом признаться. Мы с ужасом думали, что другой Фердинанд будет развлекаться своим садистическим приемом. Когда раздалась команда — «Становись», — я сделал вид, что поскользнулся, и сбил чеха с ног. Падая и бранясь, он выронил винтовку, и немного погодя я с облегчением услышал залп. Фердинанд-немец, как нам показалось, даже ранен не был. Он стоял так же прямо, закинув голову. Потом дрогнул, дрогнул вторично и начал медленно сползать вдоль ствола. Когда к нему подошли, он был уже мертв…

Морис замолчал.

— Ну а письмо-то его отправили в деревню?

— Нет, знаешь, решили не отправлять. Сожгли.

— Сволочи! — процедил я сквозь зубы.

— Да, сволочи, — не поняв, сказал Вэнсан-горняк, оказывается больше уже не засыпавший. — Все немцы сволочи…

Ни Морис, ни я ему не ответили.

Минут через двадцать я встал и, взявши винтовку и ручную гранату, пошел на пост. Сменив часового, я ходил взад и вперед, и мысли мои были далеко от лагеря. Незаметно пробежали два часа, но не хотелось возвращаться в хижину. Отослав спать обрадованную смену, я остался на посту до утра.

Нарушая правила, закурил. Закурил не обычную смесь кукурузных листьев и сухого конского навоза, а настоящую французскую папиросу, мою последнюю.

Над горами светлело, разгоралось. Близился торжественный восход, а из ума не шел Фердинанд… оба Фердинанда.

ПОЛОН

Ранней осенью 1944 года 7-ая американская армия быстро продвигалась от южного французского побережья к границе Германии. Мой товарищ Уольтер Иогансен, высокий блондин шведского происхождения, пригласил меня в очередную продовольственную «вылазку».

В мирное время Иогансен был фермером в маленьком городке штата Нью-Йорк, Женева, а в военное — одним из трех водителей машин нашего противотанкового взвода. В этих продовольственных вылазках я был обычно переводчиком: американцы терпеть не могли свои пресные консервы и охотно меняли банку бифштекса, слив или апельсинового сока на одно настоящее куриное яйцо; я же проживал во Франции около восьми лет и знал язык.

Мы взяли небольшой грузовик, подъехали к кухонному складу и до отказа набили его всевозможными кухонными консервами. Сержант, пожелав нам счастливой мены и предвкушая французскую водку — мар, до которой был большой охотник и которую я часто доставал в этих рейсах, посоветовал вернуться к часу, так как, по слухам, мы должны были двигаться дальше. Около девяти утра, решив, что у нас много времени в запасе и мысленно послав сержанта ко всем чертям, мы выехали в самом хорошем расположении духа. Обогнув лес, смело двинулись по большаку к соседней деревне. Пишу «смело», так как мы считали, что неприятель находится от нас на весьма почтительном расстоянии. Нужно сказать, что местное население по своему облику сильно напоминало немцев — высокие ростом, что довольно редко встречается у французов, по большей части блондины со своим странным для меня произношением, они не внушали доверия. Нам велено было останавливать подозрительных и требовать документы: боялись шпионов, наблюдателей и саботажа.

Проблуждав некоторое время по деревне, казавшейся пустынной, мы остановились и спросили мальчика лет одиннадцати, выглядывавшего из-за кучи щебня, не знает ли он, кто хочет получить американские консервы в обмен на яйца, спиртные напитки и кур. Мальчик не успел ответить, как мы были окружены толпой детей, высыпавшей неизвестно откуда; некоторые сразу залезли на грузовик и уже хватали руками консервы.

— Грузовик заминирован и может взорваться в любую минуту, если влезть на него с неправильной стороны, — сказал я,

чтобы спасти наши запасы.

— А какая сторона правильная?

Я ответил, что это военная тайна. Слова явно произвели впечатление. Поставив двух «часовых» из детской толпы, мы направились к приземистому дому, на который нам дети указали, очевидно, местного кулака. «Часовые» были страшно горды оказанным им доверием и, несмотря на отсутствие у них смертобойного оружия (одному дана была простреленная каска, другому — холостые патроны), заверили меня, что будут защищать грузовик до последней капли крови.

В доме нас подозрительно и недружелюбно встретил высокий старик. Одет он был очень неопрятно, а бороду, вероятно, не расчесывал уже несколько месяцев. Выслушав причину нашего визита, он объявил, что ничем помочь нам не может, так как, отступая, немцы у него забрали все дочиста: он беден теперь, как церковная мышь. Зная психологию французского фермера, я вряд ли прогадал, сказав, что мы постараемся жестоко проучить немцев и за прекрасную Францию, и лично за него. Дав ему папирос и несколько банок с консервами, мы сделали вид, что уходим.

— Подождите! — окликнул он нас тогда. — Куда же вы? Выпейте со мной стаканчик вина. У меня, кажется, еще есть последняя бутылка.

Мы уселись у круглого стола.

— Мари, принеси вина!

Вошла Мари, его дочь, девушка выше среднего роста, блондинка с завидным румянцем на щеках. При виде её Уольтер заегозил на стуле, и мне показалось, что он даже стал облизываться, как кот. Мы оба встали и приветствовали её, поднеся руку к каске. Она сверкнула на нас сахарными зубами…

Бутылку распили. Мари принесла еще одну, потом еще одну. Потом на столе появились мар, коньяк и сидр домашнего производства. Взяв у старика объемистую корзину, я попросил Уольтера принести из машины консервов. Мари, как хозяйка дома, поставила на стол жареную утку, свиной студень, маринованные грибы. За ними теснились бутылки, бутылки… Бедный Уольтер что-то мычал Мари по-американски, думая, что говорит по-французски.

Потом появилось невероятное количество людей — какие-то Роже, Морисы, Жаны, Эмили, Шарли, Адлены и т. д. Вся эта публика оказалась «кузенами» старика.

Нужно сказать, что у французов «кузены» доходят до Адама и Евы, а настоящие двоюродные братья-сестры называются «кузен жермен».

Всё дальнейшее проходило как бы в тумане: «кузены» рассказывали свои военные похождения 1914 года, показывали свои раны, демонстрировали штыковые приемы против врага и пили, пили, пили. Надо ли говорить, что все речи обращались к нам?

Помню, я несколько раз объяснял им, что мы, собственно говоря, приехали с целью обменять консервы на продукты. Роже, Морисы, Жаны, Эмили, Шарли и Адлены, выслушав эти объяснения, куда-то уходили и потом опять появлялись, таинственно похлопывая то Уольтера, то меня по плечу. Стало смеркаться (может быть был пасмурный день) — и я вдруг вспомнил о нашем сержанте и решительно встал.

— До свиданья, — «Ноев Ковчег», — твердил Уольтер, маша своей каской Мари. Он почти падал, а я, как ни странно, чувствовал себя свежехоньким. Выдав «часовым» по десяти банок консервов и спихнув остальное содержимое грузовика «кузенам» прямо на мостовую: гора преизрядная, — я сел за руль, так как Уольтер, восхваляя во всеуслышание красоту Мари, размахивал уже двумя (и моей также) касками.

Под нестройные крики дружбы и приглашений двинулись мы в обратный путь. Выехав за деревню, я остановился в недоумении: куда ехать? Мне казалось, что проехав километров пять и свернув потом налево, мы выедем как раз к нашей части. Уольтер промычал свое особое мнение. Он, заплетаясь языком, объявил, что так как мы опаздываем, то чем ехать километров пять в объезд, нам проще сократить путь через картофельные поля прямиком. Мне это показалось тоже логичным. Круто повернув налево, я въехал на картошку.

Мы подскакивали на бороздах, проваливались куда-то и опять подскакивали, однако, наш грузовик был, по-видимому, вездеходом. Издалека какие-то люди в гражданской одежде кричали и, кажется, грозили нам…

Было очень темно. Начал накрапывать дождик. Наконец, выехали мы на какую-то дорогу. Через несколько минут я увидел идущую нам навстречу фигуру. Я остановился и, как можно вежливее, спросил, как проехать в наше местечко. Фигура выслушала мой французский вопрос и ответила на ломаном французском языке, что не понимает. Потом, посмотревши внимательно на меня, фигура произнесла: «Mensch, du bist doch ja ganz besoffen!» Только после того, как я сознался уже на берлинском диалекте (вот когда пригодилось это знание), что действительно выпил, я заметил, что передо мной был очень молоденький немец, который пока что не понимал, что мы ему враги. Еще раз довольно дружелюбно поглядев на меня, он

сказал: — в местечке, куда вы собираетесь ехать, кажется, стоят американцы.

— Ну что вы! — быстро возразил я.

— Как хотите, — сказал он, — у меня есть часа два времени, могу вас туда провести.

Сообразив, что если мне удастся доставить этого немецкого мальчика к нам в лагерь, я этим сильно уменьшу вину нашего опоздания, я быстро согласился. Сказавши, что я пьян, как фортепьян, и не могу управлять машиной, я уступил ему руль, и мы двинулись дальше. Ультер блаженно храпел в углу кабинки — я набросил на него брезент.

Немец вел машину смело и уверенно, но темнота поглощала всё его внимание. Он несколько раз заводил разговор, в какой немецкой дивизии я состою, но мне всегда удавалось переменить тему.

Наконец мы вкатили в нашу деревню (до нее оказалось километров десять). Часовых не было, или они не обратили на нас внимания. Подъезжая к нашей освещенной палатке, я сильно волновался, чтобы немец в последнюю минуту не подвел, не сбежал бы. Но он и не подозревал подвоха. На шум нашей машины из палатки вышло несколько человек, в том числе наш сержант. Перешагнув через мирно спавшего Уольтера, я выскочил из кабинки.

— Что за чорт! — начал было сержант и замолк, увидев немца. Немец некоторое время смотрел на него в недоумении, я видел, как он несколько раз вопросительно моргнул, потом схватился было за кобуру, но сержант перехватил его правую руку и успокаивающе сказал:

— It's all right, boy, you'll be O. K.

Немца куда-то увели. Тогда сержант взглянул на меня. Он не знал, как себя вести, но на всякий случай, чтобы не подорвать своего авторитета перед подчиненными, накричал на меня.

Меня мучила совесть… Нет, не за то, что я опоздал, а за то, что неожиданно и как-то нечестно взял в плен немецкого мальчика. С другой стороны, я знал, что он, благодаря этому полону, спасся, будет цел и сыт и после войны вернется к своим родным. Уольтера вынесли из кабины, положили на землю, и он продолжал мирно спать. Я зашел в палатку, выпил крепкого кофе, и кто-то — кажется сержант или лейтенант — что-то у меня спрашивали, я что-то отвечал, а затем незаметно для себя заснул там же…

На утро томила страшная жажда. Выпив несколько кружек воды, я начал умываться, когда ко мне подошел сержант: — Тебя и Уольтера к девяти часам утра вызывает полковой командир.

Побрейся и good luck to you.

В половине девятого подъехал джип с двумя полицейскими, которых в тылу звали «подснежниками» за их белые каски, и мы с Уольтером, дрожа и нервно зевая, тронулись в путь, столь отличный от вчерашнего.

Командир полка находился в десяти километрах от нашего местечка. Вход на ферму, где была штаб-квартира, охранялся тоже двумя здоровенными подснежниками, которые лениво жевали резину. Они равнодушно впустили нас без эскорта, и через минуту мы очутились лицом к лицу с командиром. Это был человек лет сорока двух-трех, с усталыми глазами, ладно сложенный, расположенный к полноте. Дверь за нами захлопнулась. Мы стояли ни живы ни мертвы, вытянувшись в струнку. В течение нескольких секунд командир ел нас глазами, не произнося ни слова. Затем, очень медленно, сев за стол, сказал: «Well».

Мы молчали. Вдруг он стукнул по столу и закричал: «Да вы знаете, чем грозит вам ваша дурацкая отлучка в военное время?»

Мы молчали. Он опять впился в нас взглядом. Потом, взяв со стола лист бумаги, начал что-то громко читать. Кажется, это был чей-то рапорт. Кто-то доносил: «…такой-то дивизии… полка… сентября 1944 г. капрал Уольтер Иогансен… и русский пулеметчик-переводчик с разрешения их сержанта в девять часов утра выехали в соседнюю деревню для получения военных сведений у местного населения. (Капрал Иогансен, как один из шоферов взвода, управлял грузовиком. Отпущенное этим двум солдатам на разведку время предполагало их отсутствие около четырех часов. В девять часов вечера появился их грузовик, управляемый немецким лейтенантом Хуго фон Клуге такой-то немецкой дивизии. Капрал Иогансен мертвецки пьян, а русский еле держался на ногах. Грузовик был обрызган кровью».

При слове «кровью» командир вновь испытующе посмотрел на нас. «Кровь! — подумал я. — Откуда же кровь?» В моей трещащей голове с бешеной скоростью неслись мысли, одна другой романтичнее, я бы даже сказал: торжественнее. Очевидно, возвращаясь из деревни, мы попали в засаду. Десять, нет — двадцать, нет — пятьдесят немцев из-за прикрытия открыли ураганный огонь. Но мы с Уольтером перебили всех и взяли в плен их лейтенанта. Да, но чья же это кровь? (Мы подорвались на мине, машину перевернуло… Но кто же тогда мог поставить её на колёса? Немцы, что-ли? Что за чушь… — Кровь! — Может быть, Уольтер ранен? Или я? Стоя смирно, руки по швам, я ощупал свои бедра. Кажется, ничего. Бедра, как бедра. Локтями я попытался ощупать ребра. Благодаря американскому пайку, их

трудно было найти, но всё же мне показалось, что я чувствую одно или два ребра. Как будто и они были в порядке. Я с опаской покосился на Уольтера. Он стоял так же как и я, вытянувшись в струнку и слегка покачивался, как бы от сильного ветра. — Ага, подумал я, он контужен… Впрочем нет, покачивание скорее от угощения кузенов… — Тут мысли мои были прерваны голосом командира, продолжавшего чтение: «Примечание: при осмотре грузовика в нем нашли: — одного теленка, двух свиней, восемь гусей, четырнадцать уток, две дюжины кур и некоторое количество вина и спиртных напитков. Кровь оказалась вином, вылившимся из разбитой бутылки…».

— По моим сведениям, — сухо сказал командир, — винной батареи хватило бы на неделю для победной выпивки роты солдат. Даже американской роты… — Положив донесение на стол, он на мгновение задумался и неожиданно улыбнувшись, произнес: «Ладно». Потом, пошарив под столом, достал бутылку американского виски.

— На этот раз пронесло, но впредь… Немецкий лейтенант оказал нам и вам тоже большую услугу… За что вы хотели бы выпить?

Уольтер ответил было трафаретом: за победу, мол, идеалов над тиранией, но командир поморщился.

— Нет, не то — это мы знаем. А за что бы вам особенно хотелось сейчас выпить, очень хотелось бы, одним словом…?

Уольтер нахмурился, надулся и мне казалось, что я даже слышу, как он думает. «За Мари!» — ответил он, наконец, покраснев.

Полковник чокнулся с ним и объявил, что хотя и не знает Мари, но думает, что это стоящий тост.

Пришла моя очередь. Зная, что слова о победе и мире его не удовлетворят, я молчал и бессмысленно улыбался: — Знаете что? — произнес полковник, — выпьем за картофельные поля!

— Ну да, — объяснил он в ответ на наши вопросительные взгляды, — за картофельные поля, которые сокращают путь, — и подмигнул.

Мы оживленно выпили, потом выпили за крестьян, потом за деревню, потом еще и еще…

Возвращаясь в часть, мы упрашивали подснежников вторить: мы орали «Лили Марлен».

Когда мы соскочили с джипа, раздался залп, другой, третий…

Сквозь деревья увидели мы десятка два наших товарищей, стрелявших вверх. «Самолеты», мелькнуло у меня в голове. Но почему все стоят во весь рост, без всякого прикрытия, а не бегут врассыпную, как мы обыкновенно поступали? Вот сейчас услышу

я страшный, нарастающий визг пикирующего самолета. Сейчас, как сорвавшиеся цепные псы, залают пулеметы. Почему мне не страшно? Потому что я герой, или, может, это просто действие виски? Тут к нам подбежали бойцы. Они каким-то образом уже знали о результате нашего дела. Это был салют в нашу честь. Нас окружили, каждый считал своим долгом похлопать нас по плечу. Не знаю, как Уольтеру, но мне основательно намяли бока, а плечи горели, как будто я провел целый день на пляже французской Ривьеры.

Потом нас усадили на ящики с боеприпасами и взводный с сержантом прислуживали нам. Нас поили, потом кормили, потом опять кормили, поили, поили, поили… В большую солдатскую кружку наливалось вино, мар, спирт, коньяк. Словом — «коктейль».

Потом… если бы все пушки нашей и вражеской артиллерии оказались в десяти шагах от нас и совместно вели ураганный огонь, я очень сомневаюсь, что они смогли бы разбудить двух спящих солдат.

notes

Примечания

1

Конец мира